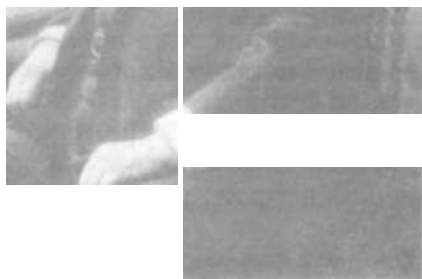


## КЛАССИКА РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ



*М.М. Ковалевский*

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИ\*



В истории каждой науки чередуются моменты внезапного развития и столь же неожиданного застоя. Они, впрочем, носят этот характер только для тех, кто теряет из виду необходимую связь, существующую между всеми человеческими знаниями, благода-

ря чему открытия, сделанные в одной из их областей, вызывают поступательный ход и других. Судьба нашей науки служит самым разительным примером сказанного. Если в середине прошлого века Монтескье выставляет впервые знаменитое положение: «законы — естественные отношения, вытекающие из природы вещей», то не потому, что сумма накопленных наблюдений из истории человеческих обществ привела его к этому выводу, а потому, что он подсказан был ему успехами биологии. То, что автор «Esprit des lois» считает естественными отношениями, или законами, при ближайшем анализе оказывается результатом поспешных обобщений. Формы правления не переходят необходимо друг в друга, подчиняясь ка-

\* Печатается по: Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета. М.: Товарищество И.Н. Кушнер и К", 1897. С. 1 — 13.

кому-то фатуму извращения, климат не определяет собою навсегда и неизменно различий в общественном укладе, как не делает этого ни раса, ни размер занятой племенем территории, хотя в пользу всех этих положений можно привести частные исторические примеры. Эти примеры казались настолько решительными еще прямому предшественнику Монтескье, Вико, что он десятками лет ранее уже проповедовал то же круговращательное движение, применяя его при этом ко всем сторонам общественности. От всех этих построений не осталось, однако, ничего, кроме следующей глубокой истины. Род человеческий не покоится в инерции, а находится в постоянном движении или, выражаясь языком гегелианцев, он не есть, а становится. В конце столетия, также под непосредственным влиянием прогресса в точных науках и подчиняясь глубокому впечатлению, произведенному на него французским переворотом, один из героев и в то же время одна из жертв революции, Кондорсе, односторонне формулировал теорию человеческого прогресса, как безостановочного, ничем не прерываемого развития. Его ближайший последователь, Сен Симон, благодаря изучению точных наук и под впечатлением той революционной роли, какую успехи техники оказали на ход развития Европы в начале текущего столетия, при самом выходе из кровопролитнейших войн Наполеона, формулирует еще более общий закон смены милитаризма индустриализмом, а его ученик Огюст Конт, в знаменитом «Catechisme industriel», напечатанном в сотрудничестве с учителем, показывает параллельность и зависимость этого экономического явления с психологическим законом перехода от априорного к индуктивно-дедуктивному мышлению. В основе всей развившейся из этого положения теории трех стадий лежит в сущности не иное что, как эта простая истина. Вставьте термины теологический и метафизический взамен априорного и научный взамен индуктивно-дедуктивного и вы получите всю теорию человеческого прогресса, как понимает ее основатель положительной философии и как отчасти предугадывали его Тюрго и Кондорсе.

Но вот в середине текущего столетия возникает, опять-таки в смежной области биологии, учение эволюционизма. Последователь Дарвина, Спенсер, немедленно прилагает его к анализу общественных явлений, и книжный рынок обогащается трактатами и памфлетами об обществе—организме и об эволюции, основанной на безграничной дифференциации. Хотите знать, что научного представляет еще эта, так долго шумевшая в мире теория, прочтите следующую страницу из недавно отпечатанных трудов второго международного конгресса социологии. Критикуя взгляды одного из лиц, наиболее злоупотреблявших аналогией общественных явлений с естественно-научными, г-на Лилиенфельда, этнограф Летурно говорит: «Что общего между государством или нацией, вроде Англии, Франции и т.д., и животным, вроде собаки, льва? Животное высшего порядка (а только с ним и сравнивают человеческие общества) составлено из клеточек или, вернее, из их элементов или фибр, образующих группы тканей, аппаратов, органов; государственный же организм составлен из граждан или единиц, морфологически сходных. Нельзя сказать, что та или другая из них представляет собою исключительно нервную клеточку, а другая — клеточку костяную или мускульную. Продолжим аналогию далее и наткнемся на еще большие противо-

речия. Где в Англии, во Франции или Германии те классы, деятельность которых можно исключительно уподобить функционированию костей или нервов? Где гражданский желудок нации? Заметьте, что общественные клеточки в противоречие тем, какие встречаются в естественном организме, могут по выбору прервать свою взаимную связь и не только переместиться, но еще проникнуть в чужой организм; гражданин—клеточка переселяется, например, из Франции в Англию и обратно, а кто видел, чтобы что-либо подобное происходило с клеточками мозговыми или мускульными, притом сознательно и самопроизвольно? Пойдем далее: как открыть в обществе аппараты вроде слухового, нервного и т. д.? Дошли до того, что утверждали, будто нервную систему представляет сеть телеграфов. Изумительные организмы, которые взамен нервов довольствуются металлическою проводкой! В том же направлении объявляли, что органами движения в обществе является сеть его путей сообщения и т.п. ... но стоит ли продолжать! Уподобление человеческих обществ организмам — чистый продукт фантазии, результат поверхностного мышления, он может только вредить успехам нашей науки...».

Приговор строг, но заслужен. Оказывается, что данные биологии не могут быть целиком переносимы в сферу обществоведения, и выступает, как нельзя лучше, научное значение того, чему учил Конт, выделяя ее в особую науку, которая должна поэтому иметь собственные законы. Тем не менее и то крайне одностороннее положение, которое состоит в уподоблении общества организму, заключает в себе зародыш истины, но истины, известной уже Менению Агриппе и которую в научной форме можно передать таким образом: общество не есть сумма разрозненных особей; его психология, как и его экономика, представляет нечто более сложное, чем сумма психических состояний частных лиц или сумма частных хозяйств. Сожитие с другими вызывает одновременно изменения и в них и в нас самих, создавая то, что мы называем солидарностью. Эта солидарность представляет собою связь во всяком случае не меньшую, а превышающую ту, какая существует между отдельными клеточками организма. Не будь ее, не было бы и постоянства сожития, не было бы общества и самостоятельной науки об обществе — социологии. Последняя, таким образом, в моих глазах сводится к изучению условий и причин человеческой солидарности. Эти условия и причины представляют собою как неизменные, так и изменяемые величины; они могут приумножаться и сокращаться. Можно указать моменты прогресса и регресса солидарности; можно проследить процесс постепенного ее расширения с эпохи, когда объединенные действительным или мнимым родством и общностью культа, роды считали врагами всех, кто не входил в их состав, до переживаемой нами ныне стадии, когда объединенные политической властью нации считают братьями и союзниками единоплеменников и единоверных, и глазам многих уже рисуется тип объединенного общности культуры человечества. Есть поэтому возможность говорить об эволюции солидарности, а следовательно и об эволюции общества, не будучи нисколько последователем органической теории государства.

Есть возможность изучать общественные явления в их поступательном движении с остановками и регрессами, которые нисколько не устраняют последовательного развития солидарности, без всяких уподоблений с

ростом живого организма и не впадая в ошибку Вико, который у всех народов открывал младенчество, возмужалость, дряхлость и смерть, — можно говорить о прогрессе. Вот почему, независимо от признания или непризнания контовского закона трех стадий, есть основание быть социологом и говорить о социальной статике и динамике, т.е. об изучении суммы тех явлений, из которых складывается общественная солидарность то в состоянии покоя, то в состоянии движения.

Большинство тех лиц, совокупными усилиями которых создано международное общество социологов в Париже, не принадлежит ни к числу контистов, ни к числу спенсеристов, но все они объединены сознанием, что обществоведение составляет самостоятельную и более сложную науку, чем биология, что его задача чисто теоретическая, хотя чреватая последствиями и для практики. В их среде можно встретить поэтому людей самых разнообразных экономических и политических воззрений, последователей манчестерской школы и Карла Маркса, республиканцев и монархистов, аристократов и демократов.

На последнем съезде секретарь конгресса Ренэ-Вормс как нельзя лучше выразил разнообразие тех представлений, какие еще на предшествующем собрании сказались при обсуждении природы и задач социологии, говоря, что за исключением Джона Лебока, понимающего ее в смысле практическом, одни обнаружили историческую, другие философскую тенденцию. Г. Вормс относит меня к первым и совершенно правильно считает выразителями последней Тарда, Гумпловича и Лилиенфельда. Что между этими тенденциями, прибавляет он, есть точки соприкосновения, в этом никто не станет сомневаться и я первый готов утверждать, что они могут слиться в стройный синтез. Но все же они настолько отличны, что сами по себе свидетельствуют о неодинаковом понимании того, что такое социология. Для одних это интегральная история человечества, научно построенная, для других — это философия сверхорганической жизни. Да и в пределах обеих групп немало частных разногласий. Автор следующим образом характеризует историческую тенденцию в среде социологов. Они полагают, говорит он, что изучение человеческих обществ должно следовать той же методе, какая была приложена к изучению природы. Подобно биологу, социолог рассматривает человеческое общество одно за другим, тщательно анализируя их формы и функции. Под формами надо разумеать одновременно и территорию и население данного общества, население, которое надо изучить и со стороны умственной природы, определяя порядок его распределения по возрастам и полам, по городам и селам, по профессиям и видам труда. Под функциями же общества надо понимать, во-первых, его хозяйство, которое Вормс уподобляет питательным функциям. К этой области чисто экономических явлений принадлежат: производство, обмен, распределение и потребление богатства. За питательными функциями следуют функции размножения, которые в обществе представлены семьей, и функции простого общения, которым отвечают явления религиозного, нравственного, эстетического, научного, юридического и политического порядка. Когда отдельные общества подвергнутся, каждое в частности, такому детальному изучению, необходимо будет обратиться к сопоставлениям и сближениям. Такова задача историко-сравнительного изучения общественных институтов; оно стоит к этнографии в том же отношении, в каком сравнительная

анатомия и физиология животных и растений стоят к описательной ботанике и зоологии. Снова приходится рассматривать различные элементы, из которых слагается жизнь общества, но уже в границах всего человечества и в порядке его поступательного развития. К социологии конкретной и описательной присоединяется таким образом социология абстрактная и сравнительная. Автор развил те же самые мысли более подробно в докторской диссертации о природе и методе социологии. Существенная поправка к такому пониманию задач историков-социологов сделана молодым ученым Альбертом Пишем в заседании того же конгресса. Он предлагает выделить первую часть задачи, простое описание, в особую науку — естественную историю человеческих обществ. За социологией удержан будет в таком случае тот характер абстрактной науки, какой придан ей ее основателем Огюстом Контом. Я тем охотнее останавливаюсь на этом сообщении, что сам высказывал те же взгляды в моих лекциях по сравнительной истории учреждений и в монографии об историко-сравнительной методе. Мне не раз приходилось настаивать на той мысли, что как биология не могла обойтись без помощи естественной истории, так и социология не получит научной постановки раньше систематического описания и существующих и существовавших обществ. Я не вижу только необходимости придумывать для этой, своего рода, конкретной социологии новое и притом чудовищное название социозтологии, на котором останавливается г-н Пиш. Я вообще не склонен к неологизмам и хотя не отрицаю, что научная точность иногда требует их введения, но готов присоединиться к протесту, заявленному одним из наших сочленов, Комб де Лестрадом, против того педантизма, какой представляет облечение всех доступных понятий в непроницаемые для публики термины.

Наряду с исторической тенденцией г. Вормс указывает тенденцию философскую. Философы, говорит он, иначе понимают задачи социологии. Они, будто бы, одни думают, что недостаточно фактов; необходимо их научное объяснение. При этом для одних источником всего в обществе являются верования и стремления частных лиц (*les croyances et les desirs des individus*). Ум человеческий, как в изобретении нового, так и в подражании, — действительный двигатель жизни общественной; социология — не более как расширенная психология, психология человека в обществе. Нужно ли прибавлять, восклицает г. Вормс, что такое понимание представлено в нашей среде весьма блистательно г. Тардом. Автор старается найти зародыш того же воззрения в среде манчестерской школы, которую он называет *ecole economique dite liberate*; но насколько учение Тарда считает умственное развитие, которое, очевидно, может сказаться только в двух видах: открытия и усвоения (или, что то же, подражание), определяющим собою все прочие эволюции: экономическую, политическую, нравственную, эстетическую, — оно непосредственно происходит от Конта и разделяется, разумеется, и такими сторонниками исторической тенденции в социологии, каким г. Вормс считает, например, меня. Сам г. Тард имел случай, возражая на критику одного из сторонников экономического материализма, следующим образом формулировать свое социологическое кредо. Справедливо ли, спрашивает он, что изменения в экономических потребностях достаточно, чтобы вызвать из-под земли гения, готового удовлетворить им? Не думаю. Мне

кажется, вернее будет сказать, что сами потребности низшего порядка изменяются под влиянием идей, самопроизвольно развившихся. Эти идеи, проникая в социальную среду, встречаются и в мыслях и в потребностях, уже укоренившихся, чаще союзников, чем противников. Если по временам необходимость — мать изобретательности, то еще чаще последняя, создавая новые ценности или понижая стоимость прежних, содействует зарождению и распространению новых вкусов, желаний и потребностей. Откуда, спрошу вас, возникло искусство приручения животных, — капитальнейшее изобретение того периода, который мы называем историей? Если допустить, что оно вызвано экономической необходимостью, то почему та же необходимость не проявилась в Новом Свете, где, кроме ламы, да и то только между ацтеками и инками, ни одно животное не подверглось одомашниванию? Человеческая любознательность, а не материальная нужда, дает в избранных умах импульс к открытиям и изобретениям, — открытиям подчас воображаемым, подчас действительным.

Таков источник догматов, мифов, таков также родник и научных знаний, которые развиваются друг из друга путем самой тесной филиации. Внизу параллельно происходит другая эволюция — желаний и потребностей, но эта последняя зависима от первой, которая наоборот происходит сама по себе. Вот почему история не может быть объяснена исключительно экономическими причинами. Из теоретических же истин, открываемых гением человека, вытекают и практические последствия, изменяющие нередко весь строй хозяйства. Напомню о компасе, о применении пара к мореплаванию, о передаче силы электричеством и пр. ...

Оригинальность и, не скрою, тенденциозность воззрений Тарда лежат не в том, что заодно с позитивистами он ставит умственное развитие краеугольным камнем всей общественной эволюции, а в том, что за влиянием подражания он не замечает или не хочет видеть других влияний, какими, независимо от заимствования и на расстоянии нередко тысяч миль и тысяч лет, обусловливается сходство порядков и учреждений двух или нескольких наций. Фриман давно указал на них, говоря об общности происхождения, об унаследовании зародышей сходных институтов из общей родины и от общих предков. Но и помимо племенного сродства и той общей всем арийцам родины, которая, может быть, никогда не существовала, так как мы знаем только арийскую культуру, а не арийское племя, — племя, по всей вероятности, смешанное, как все исторические племена, то обстоятельство, что разнокровные и никогда не бывшие между собою в общении нации самопроизвольно вырабатывают в своей среде сходные экономические, общественные и политические формы, служит, как мне кажется, лучшим доказательством общих законов развития. Импульс последнему дает с самого начала простейший факт естественного размножения и происходящего отсюда возрастания густоты населения. Из этого явления, развивающегося независимо от остальных, вытекают все другие. Им обусловливается переход от первобытных промыслов к скотоводству и земледелию, от подсобного хозяйства к двухпольному, трехпольному и многопольному, от так называемого захватного владения к мирскому, а по мере сокращения свободной к утилизации площади — к тому, наполовину общинному, наполовину частному владению, какую представляет общераспространенное поместье с характеризующей его

надельной системой и разбросанностью полос одного и того же крестьянского двора в разных полях. Еще раньше индивидуализации земельной собственности началось накопление движимостей (стад) в руках одних семей—родов в ущерб другим. Всех этих экономических явлений было достаточно для выделения имущественного класса и образования контрастов бедности и богатства. Навстречу этому движению идет другое. Неравенство способностей, мускульной силы, умственной энергии и фантазии ведет к выделению из массы сродных индивидов — бойцов и мудрецов, воинов, кудесников, бардов, жрецов, третейских разбирателей или посредников. Все они живут на счет чужого производства и взамен духовного руководства и физической защиты получают обеспечение землей и движимостью. Их ряды вскоре сливаются с рядами обособившихся собственников, благодаря чему возникают высшие руководящие сословия, являющиеся в то же время владетельным классом. Этот класс из своей среды вербует начальников над всей массой соплеменников. Такими начальниками являются то кудесники и чародеи, основатели новых вероучений, творцы догматов, то смелые предводители разбойничьих шаек—завоеватели, то славные своею мудростью примирители враждующих родов. Всем этим лицам принадлежит только руководящая роль. Начальники родов и главы семей не отрекаются в их пользу от всякого голоса в интересующих племя вопросах. Народное вече и совет старцев функционируют рядом с единоличной, а иногда и коллективной властью то выборных, то наследственных вождей. Таким образом, при взаимодействии экономических факторов, приведенных в движение потребностями самосохранения и размножения, и факторов иного высшего порядка, вызванных потребностью знания и игрою фантазии, складывается независимо от расовых и климатических различий, независимо также от всякого заимствования более или менее однохарактерный, хозяйственный, общественный и политической строй у разнообразнейших и разъединеннейших народов. Те же воздействующие друг на друга факторы видоизменяют его со временем, почему и появляется возможность говорить о родовом быте, общинном и кланово-феодальном — не как об особенностях той или другой народности или расы, а как о стадиях мирового развития общности.

Нравственность, как снабженная внешней санкцией (т.е. право), так и не снабженная ею (мораль), видоизменяется и прогрессирует параллельно этому росту хозяйственно-общественных политических форм. Ее история открывается эпохой дуализма, при которой действие, нарушающее чужой интерес, признается оскорбительным и заслуживающим репрессии только тогда, когда направлено против единокровных.

Но с расширением сферы солидарности сокращается сфера произвола, действия признаются безнравственными и тогда, когда направлены против любого члена одной и той же нации, нередко также одной и той же веры. Римский принцип — *adversus hostem aeterna auctoritas* — постепенно вытесняется все еще не вполне признанным христиански-космополитическим принципом: все люди — братья. Таким образом и в сфере

нравственности и права эволюция сказывается все большим и большим расширением принципа равенства и исчезновением того дуализма замиренной и не замиренной среды, которую мы встречаем на низших ступенях общественности. Неудивительно поэтому, если и по отношению к морали и праву можно говорить об эволюции, о росте альтруизма или о смене таких правовых порядков, как родовая месть, системой самозащиты нации против преступников. Это преемство является не особенностью того или другого народа, а мировым явлением.

Я не хочу сказать, что Тард отрицает возможность всего этого самопроизвольного роста обычаев, порядков, учреждений, ходячих воззрений или общественного мнения, он только не принимает его в расчет при общем построении своей теории. Последняя поэтому кажется мне односторонней. Сама по себе она не может объяснить не только всего ряда последовательных эволюции, из которых слагается рост человечества, но и простого сходства двух культур, разрозненных, но проходящих одинаковую стадию развития.

Автору «Законов подражания» и «Общественной логики» сделан был и другой упрек, силу которого он сам поспешил признать с характеризующей его в высокой степени научной добросовестностью. Какими законами управляется не подражание, а изобретательность? Существуют ли такие законы, и если существуют, могут ли быть научно установлены? Вот вопрос, на который пока не дано Тардом решительного ответа, благодаря, как он сам говорит, необыкновенной его сложности. Изобретение, пишет он, в своих возражениях г. Краусу, представляет две стороны: биологическую и социологическую. Чтобы проявиться, оно нуждается, во-первых, в ряде поколений, которые, благодаря счастливым бракам, делают возможным появление на свет истинного гения. Оно предполагает, с другой стороны, освещение этого исключительного разума «лучами подражания». Тард понимает под этим усвоение и сближение одиноких и нередко одновременных открытий, сделанных ранее. Так, например, изобретателю локомотива необходимо проникнуться сперва чужим открытием: двигательной силы пара, приспособленности рельсов и вагона.

Но из этих сливающихся для взаимодействия причин одна — порождение гения под влиянием наследственности — остается доселе не выясненной. Давно ищут законов наследственности и они все же остаются тайной жизни...

Наряду с тем философским течением в области социологии, которое может быть охарактеризовано термином психологического, г. Вормс указывает еще на другое: это — то, которое отправляется от положения: общество — организм, а не механическое соединение индивидов. Последователь Спенсера, Шефлэ и Лилиенфельда, секретарь социологического конгресса, посвятил развитию их любимой темы целый том, который представляет собой, как я думаю, самое трезвое выражение органической теории. Автор отказывается от опасной игры в аналогии и не ищет поэтому всем аппаратам человеческого тела соответствия в общественном.

Он больше отрицает справедливость механической теории общества, нежели доказывает его органический характер. Мы охотно миримся с



учением, которое довольствуется признанием, что общество — супер-организм, т.е. нечто отличное от того, чему учит нас биология, так как этим допущением мы одновременно высказываемся и против механической теории. Все, впрочем, чего можно достигнуть с помощью этого неологизма, сводится к следующему признанию: «общество — не сумма, а синтез составляющих его элементов». Хотя автор не говорит этого прямо, но, очевидно, и для него получающийся от общежития надбавок происходит от порождаемой им солидарности. Больше этого мы сказать не вправе, а затем, разумеется, безразлично, каким термином будет выражена эта особенность общественности — организмом или супер-организмом.

На последнем конгрессе нашлись даже лица, не отступившие перед признанием совершенной праздности всех этих общих рассуждений о природе общества и характере социологии. Голландский этнограф и социолог Штейнмец попрекнул своих собратьев в том, что из-за желания установить границы науки они теряют из виду необходимость самой ее постройки. Мы богаты, сказал он, гипотезами и будящими мысль догадками (suggestions) и бедны прочно установленными обобщениями. То, что выдают за законы социологии, нимало не заслуживает этого названия, особенно при сопоставлении с законами точных наук... Справедливость этой критики встретила отголосок и в том из социологов, которого всего чаще упрекают в излишнем накоплении фактов. Что нужно нашей науке, сказал Летурно, это побольше данных точных и хорошо классифицированных. Нашим преемникам, может быть, удастся вывести из них настоящие законы, нам же придется ограничиться только приблизительными обобщениями, односторонними и потому временными теориями.

Это сознание, что социологии, как абстрактной науке, недостает прочного фундамента конкретных фактов, установленных этнографией и историей, — причина тому, что наш конгресс посвятил большую часть своих заседаний таким частным, правда, но решающим вопросам, как происхождение и взаимное отношение матриархальной и патриархальной семьи, происхождение частной собственности и условия размежевания общинного землевладения, существование или несуществование необходимого преемства между формами правления, происхождение и эволюция аристократии и генезис рас в связи с разделением труда. Обсуждение этих вопросов не исключало, впрочем, возможности поднимать и другие. Теория Ломброзо и те изменения, каким она подверглась со стороны Ферри и Гарофоло, встретили серьезную критику в лице таких антропологов и экономистов, как Мануврие и Тёнис. Элемент наследственности в создании преступления все более и более отодвигается ими на задний план, а на смену ему выступает влияние социальной среды. В существование в современном обществе каких-то уцелевших особей прежних диких племен, унаследовавших нравственные представления отдаленнейших предков и потому всегда готовых посягнуть на основы нашей гражданственности, никто, по-видимому, больше не верит, и поэтому жестокий призыв устранять преступников, а не исправлять их, какой Ломброзо делает правительствам, не встречает более отклика в среде социологов.